

О. Н. ТУРЫШЕВА

*(Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия)*

УДК 821.161.1-31(Достоевский Ф. М.)
ББК ШЗЗ(2Рос=Рус)5-8,44

МЫСЛЬ О ВИНЕ В САМОСОЗНАНИИ ГЕРОЯ РОМАНА Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «ИДИОТ»

Аннотация. В статье предлагается оригинальный подход к решению вопроса о вине центрального героя романа Ф. М. Достоевского «Идиот». Акцент в анализе переносится с традиционного вопроса о том, в чем виноват князь Мышкин, на вопрос о том, как он относится к своей вине. Предметом анализа становятся конкретные эпизоды романа, свидетельствующие о драматизме внутренней жизни героя, обусловленном борьбой «двойных мыслей». Среди них – разговор с Е. П. Радомским и эпизод борений князя с внутренним демоном. Доказывается, что содержание этих эпизодов непосредственно связано со стремлением князя выгнать мысль о собственной вине, заменив ее мыслью оправдательной. Идея о неспособности князя вынести знание о собственной виновности позволяет выстроить полемику с «теорией двойных мыслей» Г. С. Померанца, предложить новую трактовку финала романа, а также новую трактовку образа демона, в борьбу с которым князь вступает накануне покушения Рогожина. Предметом интерпретации также становится странное грамматическое построение реплики, произнесенной князем в ответ на обвинения со стороны Радомского. Его парадоксальность, состоящая в местоименной инверсии, связывается с тем, как князь взаимодействует с мыслью о собственной вине.

Ключевые слова: Достоевский; «Идиот»; тема вины; отношение к вине; «двойные мысли»; образ демона; инверсия.

В рамках данной статьи мы хотели бы вернуться к проблеме, уже получившей свое первоначальное осмысление в предыдущих наших публикациях, посвященных вопросу о вине князя Мышкина [Турышева 2016, 2017]. К продолжению темы нас настоятельно вынуждает как принципиальная серьезность самого вопроса, так и вряд ли окончательный формат его решения в вышеназванных работах, за рамками которых осталось важное, с нашей точки зрения, наблюдение. Оно касается специфики самовосприятия князя, в авторской концепции непосредственно связанной, как нам представляется, с характером развития романного действия. Важный аспект самосознания героя позволяет реконструировать внимание к странной реплике, произнесенной князем в разговоре с Евгением Павловичем Радомским, когда тот упрекает Мышкина в страданиях Аглаи. Принимая обвинение, князь в то же

время надеется на то, что «Аглая Ивановна поймет»: «О я всегда верил, что она поймет!». При этом, допуская трудность предстоящего объяснения с ней, он свою тревогу облакает в парадоксальную формулу: «Почему мы никогда не можем всего узнать про другого, когда это надо, когда этот другой виноват!» [Достоевский 1989: 579].

Парадоксальность данной реплики князя связана с тем, что он выстраивает ее от имени того, перед кем виноват кто-то другой. Используя местоимение первого лица, он как будто сожалеет о том, что сам не сможет всего понять о вине другого человека. Но ведь на самом деле Мышкин подразумевает здесь свою собственную вину, и беспокоится он о том, что это другой (Аглая) не сможет так глубоко проникнуть в его натуру, чтобы все про него понять и его оправдать! Очевидно, что фраза, если ее выстраивать согласно подлинному переживанию князя, должна представлять собой сетование на то, что «другие никогда не могут всего узнать про нас, когда это надо, когда мы перед ними виноваты».

Как следует понимать предпринятую князем местоименную подмену? Может ли быть, что он эмпатически ставит себя на место Аглаи, предвосхищая ее непонимание и в то же время отчаянно надеясь на него? Или, может, он сострадательно ставит себя на место любого обиженного человека, подразумевая драматизм его положения и связывая освобождение от обиды с проникновением в глубинные причины поведения обидчика? Но почему тогда понимание тяжести той внутренней работы, которую должно проделать разбитое другим сердце, оказывается для Мышкина первостепенным предметом боли по сравнению с переживанием того, что он и есть источник страдания другого? А может быть, можно объяснить грамматическую инверсию, предпринятую князем, той его склонностью к «двойным мыслям», в которой он признается Келлеру («Две мысли вместе сошлись, это очень часто случается. Со мной непрерывно»)? Какие же это мысли и каково их соотношение в сознании князя?

Вспомним, как Г. С. Померанц достраивает «теорию двойных мыслей», дополняя роман «Идиот» данными других романов Достоевского. С точки зрения философа, двойные мысли есть осознание собственной расколотости между идеалом Мадонны и идеалом содомским, они автономны в душе человека и неравноправны: «ведущей может быть благородная мысль ... ведущим может быть грубый чувственный помысел» [Померанц 1990: 227]. При этом осознание борющихся помыслов – это неременное условие преодоления двойственности и «естественный стимул обратиться к небу»: «Дорога в рай проходит через ад двойных мыслей», – пишет Г. С. Померанц. И далее:

«Постоянное наблюдение за потоком двойных мыслей означает постоянное сосредоточение на мыслях первичных, внутренних, без их называния и опошления. Двойные мысли предполагают некоторую первичную глубину, некоторую подлинность, как физическая тень предполагает свет и немислима в совершенной тьме... Поэтому двойные мысли – не подлость, как думает Келлер... Знание двойных мыслей – это самосознание реальной двойственности. Без него нет надежды на выход из двойственности» [Там же: 233–234].

Предложенная «теория» позволяет философу связать феномен двойных мыслей с осознанием собственной виновности: «У Мышкина ... есть способность различать двойные мысли в зародыше, и от этого постоянная потребность в покаянии. Отсюда чувство вины Мышкина за все, что происходит: не от повышенной виновности в объективном смысле слова, а от совершенной прозрачности своего восприятия вины. Он чувствует свою вину, как принцесса – горошину» [Там же: 234].

Можно ли на почве этой «теории» объяснить тот грамматический перевертыш, который Мышкин предпринимает в разговоре с Радомским? Кажется, да: под двойными мыслями князя в этом разговоре возможно подразумевать, во-первых, мысль о том, что он виноват, а во-вторых, мысль противоположную – о том, что он не виноват, но может случиться так, что его не поймут, ведь «мы [то есть все люди] никогда не можем всего узнать про другого». Действительно, с одной стороны, Мышкин в ответ на упрек Радомского несколько раз признается в том, что заставил страдать Аглаю, а с другой стороны, оправдывает себя тем, что не может не сострадать «той, другой, разлучнице». Конечно, перед нами случай двойных мыслей, случай, когда герой осознает про себя «все» – в полном соответствии с теорией двойных мыслей, выведенной Г. С. Померанцем. Отличие одно – и очень серьезное: чувство вины у Мышкина есть не следствие осознания собственной расколотости, а присущий ей элемент. И не только в этом эпизоде. Двойные мысли Мышкина, как правило, формируются вокруг мысли о своей виновности. И противостоит ей, как правило, мысль противоположная – о том, что он не виноват. Подчеркнем: первичной мыслью князя является именно мысль о собственной вине, это его обыкновенная мысль («он обвинял себя во многом, по обыкновению» [Достоевский 1989: 305]) «Двойное» измерение возникает в усилии князя эту мысль подавить или отменить, подыскав извинительное объяснение тому, в чем он себя упрекает. В этом плане выскажем прямое возражение в отношении мнения цитируемого исследователя о том, что способность различать двойные мысли является почвой осознания

собственной вины. В случае с князем это не так.

Напомним некоторые эпизоды, которые убедительно об этом свидетельствуют. Виновато предложив возмещение «злым мальчишкам», он убеждает себя в том, что Лизавета Прокофьевна не должна на него «серьезно сердиться». Мысли о своей вине князь также сопротивляется, размышляя над выходкой Настасьи Филипповны по адресу Радомского: «...приключение <...> приняло в уме его устрашающие и загадочные размеры. Сущность загадки, кроме других сторон дела, состояла для князя в скорбном вопросе: он ли именно виноват и в этой новой “чужовищности”, или только... Но он не договаривал кто еще» [Там же]. И в ответ на прямой вопрос Лизаветы Прокофьевны «Виноват или нет?» он отвечает: «Ни я, ни вы, мы оба ни в чем не виноваты умышленно» [Там же: 320]. Еще один пример касается реакции князя на «наполеоновский» рассказ генерала Иволгина: почувствовав укол вины за смех, которым он разразился после ухода старика, Мышкин «тут же понял, что не в чем укорять, потому что ему было бесконечно жаль генерала» [Там же: 503]. Во всех случаях первичная мысль князя – это мысль о собственной вине, и во всех случаях ее сопровождает «двойное», как говорит князь, – мысль, которая может извинить, отменить первичную: это может быть мысль о том, что в поступке не было злого умысла, а только сочувственное понимание (как в истории со «злыми мальчишками»), или мысль о том, что в произошедшем виноват не он, а другой (как в истории об эксцентрическом поступке Настасьи Филипповны), или мысль о том, что сострадание другому оправдывает вину перед ним (как в истории с генералом Иволгиным). Этот последний случай представляется нам совершенно идентичным (в содержательном плане, за исключением, конечно, его комической модальности) тому, который вылился в странную фразу с местоименной инверсией: одновременно принимая и отрицая свою вину перед Аглаей в разговоре с Радомским, князь имеет в виду и то, что виноват перед ней, и то, что его вина извинительна – ведь в основе его виновности перед Аглаей лежит сострадание Настасьи Филипповны, и Аглая, как надеется князь, сможет это понять. Здесь, как и в случае с генералом Иволгиным, в борьбу помыслов вступает мысль о собственной вине и мысль о том, «что не в чем укорять [самого себя], потому что ему было бесконечно жаль» «другую». Радомский в анализируемом диалоге хорошо почувствовал конфронтацию двойных мыслей князя: «Да разве этого довольно? – вскричал Евгений Павлович в негодовании, – разве достаточно только вскричать: “Ах, я виноват!” Виноваты, а сами упорствуете! И где у вас сердце было тогда, ваше “христианское”-то сердце!» [Там же: 579].

Однако самый трагический пример выяснения взаимоотношений князя с мыслью о собственной вине – это его спор со «страшным и ужасным демоном». Здесь конфликт помыслов принимает совершенно особый характер, уже не сводимый к простому противостоянию, к простому «упорствованию», как говорит Радомский.

Данный эпизод чаще всего рассматривается как свидетельство драматизма внутренней жизни героя, пытающегося подавить страшные предчувствия, противопоставив им свою веру в добро и страстное желание его осуществления (например: [Мановцев 2001]). Впрочем, есть и другая трактовка, прямо реализующая метафорическое содержание сцен, связанных с упоминанием демона. В рамках этой трактовки они рассматриваются как свидетельство одержимости князя воплотившейся в нем темной силой. Эта интерпретация принадлежит Т. А. Касаткиной. Ее аргументация базируется, во-первых, на выявлении роли демона в поведении князя, как оно описано в событиях пятой главы II части: «Демон заставляет князя провоцировать Рогожина, изменяя своему слову и намерениям, демон же мешает князю подойти к только что обретенному брату и прояснить недоумения» [Касаткина 2001: 82]. Во-вторых, данная интерпретация находит свою поддержку в анализе сцены припадка князя, которая, с точки зрения исследовательницы, свидетельствует о том, что посредством болезни «демон проникает в [Мышкина] и захватывает его» [Там же]. Это же подтверждает и результат припадка – «сползание», «нисхождение» бьющегося в конвульсиях князя по ступеням гостиничной лестницы, что трактуется в разборе Т. А. Касаткиной как символическое проявление «деградации, перехода личности в более низкие слои реальности» [Там же: 83]. Присутствием демона в природе князя объясняются и все те «двойные мысли», которые мучают и терзают Льва Николаевича [Там же], и, наконец, его переживание эпилепсии как «гармонии, красоты и молитвы», «слияния с высшим синтезом жизни».

Однако совокупность этих сцен содержит в себе и иной герменевтический заряд, позволяющий трактовать их не как событие подчинения князя демону, но как событие совсем иного рода. Касаткина как раз допускает противоположное толкование сцены припадка: она «могла бы быть истолкована и иным образом (прямо противоположным), как схватка с демоном, вопящим от противостояния ему человека» [Там же: 82]. Мы предлагаем еще один вариант расшифровки взаимоотношений Мышкина с демоном: не как схватку противостояния и не как допущение внедрения демона в собственную личность, но как искушение. Т. А. Касаткина описывает состояние Мышкина скорее как одержимость вселившимся в него демоном, однако, важнейший

атрибут злого духа – не только проникновение в ход мыслей и психическую сферу человека, но и искушение, соблазн его духа [Аверинцев 1997; Махов 2015].

Ситуация искушения – ситуация евангельская. У Достоевского она является предметом изображения в «Легенде о Великом инквизиторе» и в «Бесах» (в диалоге Шатова и Ставрогина). В «Идиоте» объект искушения – не Христос, а христоподобный человек, а искуситель – не внеположное ему существо («потайное главное действующее лицо» романа, как ее характеризует Т. А. Касаткина), а то, что произведено им самим, его собственным сознанием¹.

О каком же искушении идет речь в эпизодах, изображающих сопротивление князя демону? И как же следует понимать образ демона? Что подразумевает эта номинация? Начнем с последнего вопроса.

В данном эпизоде в сознании героя очевидно представлена борьба противоположных помыслов, один из которых, как нам представляется, он сам и именуется демоном. Есть все основания считать, что номинация «демон» принадлежит именно Мышкину, а не повествователю: это от самого героя исходящее обозначение преследующей его мысли, имя переживаемой им внутренней коллизии, метафора отвратительных ему помыслов. Об этом прямо свидетельствует и нарративная форма, использованная Достоевским в описании борений героя с демоном в следующем повествовательном фрагменте: «Да, болезнь его возвращается, это несомненно; может быть припадок с ним будет именно сегодня. Через припадок и весь этот мрак, через припадок и “идея”! Теперь мрак рассеян, демон прогнан, сомнений не существует, в его сердце радость!» [Достоевский 1989: 231]. Этот пассаж вне всяких сомнений исполнен в форме несобственно-прямой речи: это разговор героя с самим собой, убеждение себя самого относительно происхождения отвратительной идеи. И именно в нем впервые появляется слово «демон».

Присмотримся к содержанию этой ужасной мысли, вызывающей у князя «тоску» и «мрак». Это «внезапная идея» о том, что «Рогожин убьет». Очень важно, что эта идея рождается из вопроса Мышкина о собственной виновности: «Что же, разве я виноват во всем этом?» – «в мучительном напряжении и беспокойстве» спрашивает себя Мышкин, имея в виду метания Настасьи Филипповны, о которых он только что узнал от Рогожина [Там же: 225]. «Ужасное предчувствие» о том, что «Рогожин убьет», и оформляется во внутренней речи князя в метафору

¹ О том, что именно сознание героя является первостепенным предметом анализа у Достоевского см.: [Щенников 2001 а, 2001 б].

терзающего его демона. Демон Мышкина (а вернее, то, что он называет демоном) – это «отвратительное», «низкое» и «бесчестное», по его собственным словам, подозрение Рогожина в возможной расправе над мучительницей Настасьей Филипповной. На протяжении всей сцены – от момента, как Рогожин захлопнул за ним дверь своего дома, до припадка на лестнице гостиницы – Мышкин пытается «прогнать демона», связывая с его вмешательством «какое-то внутреннее непобедимое отвлечение» [Там же: 227].

При этом Мышкин находит способ хотя бы на некоторое время «рассеять мрак». Это происходит в минуту, когда он внушает себе, что «Рогожин способен к свету», он простит все свои мучения Настасье Филипповне и станет для нее «служгой, братом, другом, провидением». Поэтому, думает Мышкин, «сердце его чисто» перед Рогожиным, и единственное, в чем он может упрекнуть себя, – это «бесчестное» подозрение, возникшее, как он уверяет себя, на почве приближающегося припадка. Однако, не застав дома Настасью Филипповну, Мышкин вновь переживает возвращение демона. «Он опять верил своему демону!», «странный и ужасный демон привязался к нему окончательно и уже не хотел оставлять его более» [Там же: 233], сложив в его сознании «совершенно цельное и неотразимое впечатление, невольно переходящее в полнейшее убеждение» [Там же: 234]. Но, как и минутой раньше, князь подавляет «возмущающие нашептывания демона», присваивая себе вину перед Рогожиным за «низкие» мысли: «О, как мучила князя чудовищность, “унизительность” этого убеждения, “этого низкого предчувствия” и как обвинял он себя самого! <...> О, я бесчестен! – повторял он с негодованием и краской в лице. – Какими же глазами буду я смотреть теперь всю жизнь на этого человека! О, что за день! О Боже, какой кошмар! <...> пойти сейчас к Рогожину, дожидаться его, обнять его со стыдом, со слезами» [Там же: 234–235].

Мышкин, таким образом, называет демоном предчувствие трагической развязки. Очевидно, что эта мысль – мысль о том, что «Рогожин убьет» – могла бы быть спасительна: признав правоту своего подозрения, Мышкин смог бы не допустить финальной катастрофы. Однако спасительной мысли он приписывает демонический статус и в мучительном напряжении душевных сил пытается ее преодолеть. Почему?

Текст вполне позволяет реконструировать ответ на этот вопрос: предчувствие трагедии делает очевидной собственную причастность Мышкина к возможности трагического исхода. Эта причастность становится для Мышкина явственной (или, как он говорит, «действительной», «насущной», «настоящей»), именно тогда, когда возникает ужасное предчувствие. Ведь если им, Мышкиным, «решено, что Рого-

жин убьет» [Там же: 230], то он сам непременно виноват; если же Рогожин «способен к свету» [Там же: 231] и предчувствие трагедии – всего лишь козни демона, то и нет его вины. Потому Мышкин и пытается пресечь нашептывания демона и уговаривает себя в несправедливости своих подозрений, вместо настоящей вины внушая себе веру в то, что Рогожин умеет «страдать и сострадать», что им руководит не только страстность и «безумная ревность»¹.

Фактически, сражаясь с демоном предчувствия, Мышкин формулирует другую вину вместо той, которая его вызвала. Если в начале сцены вина очевидно связывается им с тем, что он неизбежно причастен к страданию Рогожина и Настасьи Филипповны, то противостояние демону (мысли о возможности того, что «Рогожин убьет») глушит мысль о собственной вине в страданиях других, подменяя ее мыслью о вине за «низкое» подозрение Рогожина. Так упреки в собственном бесчестии перед лицом Рогожина *искушают его к забвению настоящей виновности*. И в рамках этой сцены он это искушение – в мучительных борениях духа – принимает. Кстати, мысль о том, что демонизация голоса вины есть не что иное, как искушение и соблазн, непосредственно звучит в тексте: «Чрезвычайное, неотразимое желание, почти соблазн, вдруг оцепенили всю его волю. <...> мрачное, мучительное любопытство соблазняло его. Одна новая, внезапная идея пришла ему в голову» [Там же: 229]. Таким образом, искушение исходит вовсе не от той мысли, которую сам князь именует демонической. Анализ переживаемого им внутреннего события показывает, что подлинно демоническим началом обладает мысль, купирующая в сознании князя вину (мысль о напрасном подозрении Рогожина), искушающая его к подавлению чувства вины, а вовсе не мысль о том, что «Рогожин убьет». Последняя, в случае ее принятия князем, наоборот, могла бы воспрепятствовать трагической развязке. Но только в случае признания Мышкиным собственной вины.

Следствием этих борений становится приближающийся припадок. Именно так: припадок есть следствие «мрака», хотя сам Мышкин приписывает происходящему противоположную логику. Предчувствуя в начале этой сцены возвращение болезни, он связывает возникновение демона именно с ней: «Через припадок и весь этот мрак, через припадок и “идея”» [Там же: 231], – восклицает он. Однако анализ вы-

¹ А ведь о неизбежности трагедии он знает с самого начала: рассматривая портрет Настасьи Филипповны, Мышкин говорит об исходе ее брака с Рогожиным: «Женился бы, а через неделю, пожалуй, и зарезал бы ее».

являет обратную зависимость: здесь не болезнь вызывает демона ужасных предчувствий и подозрений, а наоборот, внутреннее сопротивление чувству вины, сочтенному за терзания демона, оборачивается припадком. Князь очевидно скрывает от себя настоящие причины подступающей эпилепсии, будучи не в силах выдержать свою виновность.

На подобной трактовке позволяют настаивать и встроенные в рамки данной сцены размышления князя о состоянии перед припадком, которое характеризуется им как «необыкновенное усилие самосознания». Не справедливо ли в рамках этих размышлений князя видеть в приближающемся припадке «усилие самосознания», потребность в разрешении мучительного самообмана, в который он сам вводит себя, стремясь избегнуть мысли о вине: «Все волнения, все сомнения, все беспокойства как бы умиротворялись разом, разрешались в какое-то высшее спокойствие, полное ясной, гармоничной радости и надежды, полное разума и окончательной причины» [Там же: 227]. Припадок и приближается, когда герой, в надежде скрыть от себя «окончательные причины», направляет свои внутренние усилия на борьбу с демоном ужасного предчувствия – вместо того, чтобы признать реальность своей вины в возможном свершении этих предчувствий¹. В припадке вытесненная вина и рвется наружу, заявляя о себе и требуя своего включения в сознание, в «разум».

Особенное внимание обращает на себя то, что разговор князя с Радомским, в ходе которого он также «упорствует» в своей невинности, также готов завершиться припадком: князь переживает такую же «невыразимую и ужасную тоску», как перед припадком, завершающим «демонический» эпизод, и у него «опять начинает болеть голова». Представляется, что эта симметрия в структуре эпизодов, связанных с отказом от признания вины, поддерживает нашу интерпретацию важнейшего аспекта внутренней жизни героя.

В рамках этой герменевтической версии нам представляется вполне возможным и итоговое безумие князя трактовать как следствие невозможности вынести мысль о том, что «окончательной причиной»

¹ О том, что Мышкин не желает прислушиваться к голосу сердца, отказывается верить предчувствиям, отрицает происходящее, пишет А. Мановцев в статье «Свет и соблазн». Эту особенность сознания героя исследователь объясняет его нежеланием взаимодействовать с реальной действительностью: «Мышкин так сильно желает другим добра, что это желание приобретает у него характер страсти, застилающей взор... Князь отказывается видеть и ... предпочитает мечтание трезвому, спасительному взгляду» [Мановцев 2001: 254]. Мы это качество героя связываем с его неспособностью принять ответственность.

трагедии является он сам, а именно, его сопротивление «зову вины» (И. Ялом). Не только «испепеляющее» сострадание [Бердяев] (как принято считать) убивает разум Мышкина, но и (наконец!) невыносимое для рассудка признание того, что он все и «допустил». Очевидно, это последнее откровение, дарованное ему болезнью – перед окончательным погружением в полный мрак.

Итак, анализ позволяет настаивать на том, что «двойное» в мыслях князя, как правило, связано с попыткой вытеснения чувства вины, с подменой его другим переживанием (бесчестия перед лицом Рогожина – в «демоническом» эпизоде, состраданием – в целом ряде других сцен). Все, описанное здесь Достоевским, впоследствии получило вполне определенное наименование в психоаналитическом толковании такого защитного механизма, как инверсия, т. е. переименование, подмена травмирующего переживания иным, часто прямо противоположным. Причем у Достоевского мы находим и описание того, что психоанализ называет «образованием симптома» [Фрейд]. Припадок князя и есть тот симптом, который является следствием инверсивного усилия страдающего сознания, реакцией на самообман и вытеснение тягостного актуального чувства.

Такое же «выдавливание» чувства вины, думается, и лежит в основе той грамматической замены, которая так парадоксализирует фразу из мучительного для князя разговора с Радомским: будучи не в силах признать свою вину («Я, ей-богу, ничего не допускал. Я до сих пор не понимаю, как это все случилось»), князь трансформирует ее переживание в сожаление о том, как трудно понять все о вине другого, при этом отождествляя себя не с тем, на кого возлагается труд признания вины, а с тем, на кого возлагается труд понимания виновного. Мы склонны трактовать эту особенность сознательной жизни Мышкина как трагический пример того, насколько сложно ему удержать позиции своего внутреннего человека. Да, Мышкин способен осознавать свое «двойное», да, он чувствует свою вину, но важнейшие эпизоды его романной истории свидетельствуют о том, что он противится осознанию своего подлинного демона, которым является вовсе не бесстыдное подозрение другого (в чем он себя убеждает), а стремление заглушить мысль о собственной вине и ее переживание – как невыносимые. В этом принципиальное отличие хриstopодобного человека Достоевского от Христа. Двойные мысли Христа, как называет Г. С. Померанц Гефсиманское моление о чаше, есть «одновременно сознание человеческой слабости и возвышение над ней (сознание слабости внешнего человека и силы внутреннего)» [Померанц 1990: 231]. В структуре образа Мышкина акценты расставлены по-другому: это и сознание соб-

ственной виновности, и подчинение соблазну самооправдания, механизмом которого становится инверсия, в том числе речевая, грамматическая. Поэтому путь Мышкина, в отличие от пути Христа, и есть «сползание», «нисхождение» во мрак.

О том, что Мышкин является носителем сущностной вины, писали многие, выдвигая разные концепции его виновности [Ермилова 2001; Лебедева 1996; Меерсон 2001 и др.]. В рамках предпринятой нами постановки вопроса вину Мышкина следует связать с тем, как он сам взаимодействует с переживанием этого чувства. Мартин Бубер вывел трагедию Ставрогина из «ложного отношения [героя] к собственной виновности» [Бубер]. Данное определение вполне приложимо и к трагедии Мышкина, хотя искажение этого переживания носит у него совершенно иной характер: если Ставрогин подменяет вину «горделивым вызовом» (как Тихон характеризует интенцию ставрогинского саморазоблачения), то Мышкин – самооправдательным состраданием и отказом винить других.

ЛИТЕРАТУРА

Аверинцев С. С. Бесы // Мифы народов мира. Энциклопедия : в 2 т. М. : Сов. энциклопедия, 1997. Т. 1. С. 169–171.

Бердяев Н. Миросозерцание Достоевского. М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. 209 с.

Бубер М. О вине и чувстве вины // Московский психотерапевтический журнал. М., 1999. № 1. С. 59–86. URL: <http://doc.knigi-x.ru/22meditsina/329391-1-moskovskiy-psihoterapevticheskiy-zhurnal-1999-1-vina-chuvstvo-vini-martin-buber-lon.php> (дата обращения: 20.09.2017).

Достоевский Ф. М. Идиот // Достоевский Ф. М. Собр. соч. : в 15 т. Л. : Наука, 1989. Т. 6. 670 с.

Ермилова Г. Трагедия «русского Христа», или О неожиданности окончания «Идиота» // Роман Ф. М. Достоевского «Идиот» : современное состояние изучения. М. : Наследие, 2001 С. 446–462.

Касаткина Т. А. Роль художественной детали и особенности функционирования // Роман Ф. М. Достоевского «Идиот» : современное состояние изучения. М. : Наследие, 2001. С.60–99.

Левина Л. А. Некающаяся Магдалина, или Почему князь Мышкин не мог спасти Настасью Филипповну // Достоевский в конце XX века. М. : Классика плюс, 1996. С. 343–368.

Махов А. Е. Какой-то демон обладал моими играми : Пушкин и традиции христианской демонологии // IN UMDRA : Демонология как

семиотическая система. Альманах. М. : РГГУ, 2015. С. 331–358.

Мановцев А. Соблазн и свет // Роман Ф. М. Достоевского «Идиот» : современное состояние изучения М. : Наследие, 2001. С. 250–290.

Меерсон О. Христос или «Князь Христос» : Свидетельство генерала Иволгина // Роман Ф. М. Достоевского «Идиот» : современное состояние изучения. М. : Наследие, 2001. С. 42–59.

Померанц Г. С. Двойные мысли у Достоевского // Померанц Г. С. Открытость бездне. Встречи с Достоевским. М. : Сов. писатель, 1990. С. 225–234.

Турьшева О. Н. Между виной и состраданием : штрихи к портрету князя Льва Николаевича Мышкина // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2016. № 6 (44) С. 128–138.

Турьшева О. Н. Вина как предмет художественной мысли : Ф. М. Достоевский, Ф. Кафка, Л. фон Триер. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017. 152 с.

Фрейд А. Психология Я и защитные механизмы / пер. с англ. М. : Педагогика, 1993. 144 с.

Щенников Г. К. К проблеме художественной метафизики Ф. М. Достоевского // Эволюция форм художественного сознания в русской литературе (опыты феноменологического анализа) : сборник научных трудов. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2001а. С. 149–163.

Щенников Г. К. Метафизика романа «Идиот» // Щенников Г. К. Целостность Достоевского. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2001б. С. 23–64.

REFERENCES

Averintsev S. S. Besy // Mify narodov mira. Entsiklopediia : v 2 t. М. : Sov. entsiklopediia, 1997. Т. 1. S. 169–171.

Berdyaev N. Mirosozertsanie Dostoevskogo. М. ; Berlin : Direkt-Media, 2015. 209 s.

Buber M. O vine i chuvstve vini // Moskovskiy psikhoterapevticheskiy zhurnal. М., 1999. № 1. S. 59–86. URL: <http://doc.knigi-x.ru/22meditsina/329391-1-moskovskiy-psihoterapevticheskiy-zhurnal-1999-1-vina-chuvstvo-vini-martin-buber-lon.php> (data obrashcheniya: 20.09.2017).

Dostoevskiy F. M. Idiot // Dostoevskiy F. M. Sobr. soch. : v 15-ti t. L. : Nauka, 1989. Т. 6. 670 s.

Ermilova G. Tragediya «russkogo Khrista», ili O neozhidannosti okonchaniya «Idiota» // Roman F. M. Dostoevskogo «Idiot» : sovremennoe sostoyanie izucheniya. М. : Nasledie, 2001 С. 446–462.

Kasatkina T. A. Rol' khudozhestvennoy detali i osobennosti funktsionirovaniy // Roman F. M. Dostoevskogo «Idiot» : sovremen-noe sostoyanie izucheniya. M. : Nasledie, 2001. S.60–99.

Levina L. A. Nekayushchayasya Magdalina, ili Pochemu knyaz' Myshkin ne mog spasti Nastas'yu Filippovnu // Dostoevskiy v kontse XX veka. M. : Klassika plyus, 1996. S. 343–368.

Makhov A. E. Kakoy-to demon obladal moimi igrami : Pushkin i traditsii khristianskoy demonologii // IN UMDRA : Demonologiya kak semioticheskaya sistema. Al'manakh. M. : RGGU, 2015. S. 331–358.

Manovtsev A. Soblazn i svet // Roman F. M. Dostoevskogo «Idi-ot» : sovremennoe sostoyanie izucheniya M. : Nasledie, 2001. S. 250–290.

Meerson O. Khristos ili «Knyaz' Khristos» : Svidetel'stvo gene-rala Ivolgina // Roman F. M. Dostoevskogo «Idiot» : sovremennoe so-stoyanie izucheniya. M. : Nasledie, 2001. S. 42–59.

Pomerants G. S. Dvoynye mysli u Dostoevskogo // Pomerants G. S. Otkrytost' bezdne. Vstrechi s Dostoevskim. M. : Sov. pisatel', 1990. S. 225–234.

Turyshcheva O. N. Mezhdv vinoy i sostradaniem : shtrikhi k portre-tu knyazya L'va Nikolaevicha Myshkina // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya. 2016. № 6 (44) S. 128–138.

Turyshcheva O. N. Vina kak predmet khudozhestvennoy mysli : F. M. Dostoevskiy, F. Kafka, L. fon Trier. Ekaterinburg : Izd-vo Ural. un-ta, 2017. 152 s.

Freyd A. Psikhologiya Ya i zashchitnye mekhanizmy / per. s angl. M. : Pedagogika, 1993. 144 s.

Shchennikov G. K. K probleme khudozhestvennoy metafiziki F. M. Dostoevskogo // Evolyutsiya form khudozhestvennogo soznaniya v russkoy literature (opyty fenomenologicheskogo analiza) : sbornik nauchnykh trudov. Ekaterinburg : Izd-vo Ural. un-ta, 2001a. S. 149–163.

Shchennikov G. K. Metafizika romana «Idiot» // Shchennikov G. K. Tselostnost' Dostoevskogo. Ekaterinburg : Izd-vo Ural. un-ta, 2001b. S. 23–64.